

**Борис Акунин**

**Пелагия и белый бульдог**

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

**БЛЮДИТЕСЯ ПСОВ**

# I

## СМЕРТЬ ЗАГУЛЯЯ

...А надо вам сказать, что к яблочному Спасу, как начнет небо поворачивать с лета на осень, город наш имеет обыкновение подвергаться истинному нашествию цикад, так что ночью и захочешь спать, да не уснешь вот какие со всех сторон несутся трели, и звезды опускаются низко-низко, луна же и подавно виснет чуть не над самыми колокольнями, делаясь похожа на яблоко нашей прославленной «сметанной» породы, которую местные купцы поставляют и к царскому двору, и даже возят на европейские выставки. Если б кому выпало взглянуть на Заволжск из небесных сфер, откуда изливаются лучи ночных светил, то перед счастливецом, верно, предстала бы картина некоего зачарованного царства: лениво искрящаяся Река, посверкивающие крыши, мерцание газовых фонарей, и над всей этой игрой разнообразных сияний воспаряет серебряный звон цикадного хора.

Но вернемся к владыке Митрофанию. О природе же упомянуто единственно для пояснения, почему в эту ночь уснуть было бы непросто и самому обыкновенному человеку, обремененному заботами поменее, чем губернский архиерей. Недаром же недоброжелатели, которые есть у каждого, не исключая и этого достойного пастыря, утверждают, что именно преосвященный, а вовсе даже не губернатор Антон Антонович фон Гаггенау, является истинным правителем нашего обширного края.

Впрочем, обширен-то он обширен, однако населен не густо. Из настоящих городов, пожалуй, один Заволжск только и есть, прочие же, включая и уездные, представляют собой разросшиеся села с кучкой каменных присутствий вокруг единственной площади, невеликим собором и сотней-другой бревенчатых домишек под жестяными крышами, которые испокон веков у нас красят отчего-то непременно в зеленый цвет.

Да и губернская столица не бог весть какой Вавилон – в описываемый момент все ее население составляло двадцать три тысячи пятьсот

одиннадцать человек обоего пола. Правда, на неделе после Преображения, если никто не помрет, ожидалось увеличение числа обывателей еще на две души, потому что жена правителя губернской канцелярии Штопса и мещанка Сафулина ходили на сносях, а последняя, по общему мнению, уже и перехаживала.

Обычай вести строгий учет населения завели недавно, при нынешней власти, и то только в городах. А сколько кормится народишку по лесам да болотам – это уж Бог весть, поди-ка посчитай. От Реки до самых Уральских гор на сотни верст тянутся непроходимые дремучие чащи. Там и раскольничьи скиты, и соляные фактории, а по берегам темных, глубоких речек, по большей части вовсе безымянных, живет племя зыть, народ смиренный и послушный, угорского корня.

Единственное упоминание о древнем бытовании нашей незнаменитой области содержится в «Нижегородском изборнике», летописи пятнадцатого столетия. Там сказано о новгородском госте по имени Ропша, которого в здешних лесах «уловиша дики голобрюхи языке» и во жертвоприношение каменному идолу Шишиге лишили головы, отчего, как считает нужным пояснить летописец, «оный Ропша погибоша, преставися и погребен бысть без главы».

Но то было во времена давние, мифические. Теперь же у нас тишь и благолепие, по дорогам не шалют, не убивают, и даже волки в здешних лесах из-за обилия живности заметно толще и ленивее, чем в прочих губерниях. Хорошо живем, дай Бог всякому. А что до ропота архиереевых недоброжелателей, то рассуждать, кто истинный правитель Заволжского края владыка ли Митрофаний, губернатор ли Антон Антонович, многоумные ли губернаторовы советники, а может, и вовсе губернаторша Людмила Платоновна, – не беремся, потому что не нашего ума дело. Скажем лишь, что союзников и почитателей в Заволжье у преосвященного гораздо больше, чем недругов.

Впрочем, в последнее время в связи с некими событиями сии последние осмелели и подняли голову, что давало Митрофанию, помимо обычных, связанных с цикадым неистовством, еще и особенные причины для бессонницы. То-то и хмурил он высокий, в три поперечные морщины лоб, то-то и сунул черные густые брови.

Хорош лицом заволжский епископ, не просто благообразен, а истинно красив, так что и не пастырю бы впору, а какому-нибудь старорусскому князю или византийскому архистратигу. Волосы у него длинные, седые, а борода, тоже длинная и шелковистая, пока еще наполовину черна, в усах же и вовсе ни единого серебряного волоска. Взгляд острый, по большей части мягкий и ясный, но тем страшнее, когда затуманится гневом и начнет извергать молнии. В такие грозные минуты виднее и строгие складки вдоль скул, и орлиный изгиб крупного, породистого носа. Голос у владыки глубокий, звучный, с низкими перекатами, одинаково пригодный для душевного разговора, вдохновенной проповеди и государственной речи на очередном присутствовании в Святейшем Синоде.

По молодости лет Митрофаний придерживался аскетических воззрений. Ходил в рясе из мешковины, истощал плоть беспрестанным лощением и даже, сказывают, носил под рубахой чугунные вериги, но давно уже отказался от этих суровостей, сочтя их суетными, несущественными и даже вредными для истинного боголюбия. Войдя в возраст и достигнув мудрости, стал он к своей и чужой плоти снисходительней, в повседневном же одеянии отдавал предпочтение подрясникам тонкого сукна, синего или черного. А иной раз, когда того требовал авторитет архиерейского звания, облачался в лиловую, драгоценнейшего бархата мантию, велел запрягать парадную епископскую карету шестеркой, и чтоб на запятках непременно стояли двое статных густобородых келейников в зеленых рясах с галунами, очень похожих на ливреи.

Находились, конечно, и такие, кто втихомолку корил преосвященного за сибаритские привычки и приверженность к пышности, но даже и они судили его не слишком строго, памятуя о высоком происхождении Митрофания, который был привычен к роскоши с детства и потому не придавал ей сколько-нибудь важного значения – не удастаивал замечать, как выражался его письмоводитель отец Серафим Усердов.

Родился заволжский преосвященный в знатном придворном семействе, окончил Пажеский корпус и вышел оттуда в гвардейскую кавалерию (было это еще в царствование Николая Павловича). Вел обычную для молодого человека его круга жизнь, и если чем-то отличался от своих сверстников, то разве что некоторой склонностью к философствованию, Впрочем, не столь уж редкой среди образованных и чувствительных юношей. В полку «философа» считали хорошим товарищем и исправным кавалеристом,

начальство его любило и продвигало по службе, и к тридцати годам он, верно, вышел бы в полковники, но тут случилась Крымская кампания. Бог весть какие прозрения открылись будущему заволжскому епископу в его первом боевом деле, конной сшибке под Балаклавой, но только, оправившись после сабельного ранения, вновь брать в руки оружие он не пожелал. Вышел в отставку, распростился с родными и вскоре уже пребывал на искусе в одном из отдаленнейших монастырей. Однако и сейчас, особенно когда Митрофаний служит в храме молебен по случаю одного из двенадесяти праздников или председательствует на совещании в консистории, легко представить, как он раскатисто командовал своим уланам: «Эскадрон, сабли к бою! Марш-марш!» Незаурядный человек проявит себя на любом поприще, и в безвестности дальнемонастырской жизни Митрофаний пребывал недолго. Как прежде он, еще будучи в обер-офицерском чине, стал самым молодым эскадронным командиром во всей легкоконной бригаде, так и теперь ему выпало стать самым молодым из православных епископов. Назначенный к нам в Заволжск сначала викарием, а затем и губернским архипастырем, он проявил столько мудрости и рвения, что вскорости был вызван в столицу, на высокую церковную должность. Многие прочили Митрофанию в самом недалеком будущем белый митрополичий клобук, но он, поразив всех, опять свернул с накатанного тракта – ни с того ни с сего запросился обратно в нашу глушь и после долгих уговоров, к радости заволжан, был с миром отпущен, чтобы больше уж никогда не покидать здешней скромной, удаленной от столиц кафедры.

Хотя что ж с того, что удаленной. Давно известно, что чем удаленней от столицы, тем ближе к Богу. А столица, она и за тысячу верст дотянется, если взбредет ей, высоко сидящей и далеко глядящей, в голову такая фантазия.

Из-за такой-то вот фантазии и не спал нынче владыка, без удовольствия внимая надоевшим цикадьям *crescendo*. Столичная фантазия имела лицо и имя, звалась синодским инспектором Бубенцовым, и, прикидывая, как дать укорот этому злокозненному господину, преосвященный уже в сотый раз переворачивался с боку на бок на мягкой, утячьего пуха перине, кряхтел, вздыхал, а по временам и охал.

Ложь в архиерейской опочивальне было особенное, старинное, еще елисаветинских времен, на четырех столбах и с балдахином в виде

звездного неба. В период уже поминавшегося увлечения аскезой Митрофаний преотлично ночевал и на соломе, и на голых досках, пока не пришел к заключению, что плоть умерщвлять – глупость и незачем, не для того Господь ее слепил по образу и подобию Своему, да и не пристало архипастырю бахвалиться перед подопечным клиром, навязывая ему самоистязательную строгость, к которой иные не испытывают душевного расположения, да и по церковному уставу не обязаны. К зрелым годам стал преосвященный все больше к тому склоняться, что истинные испытания человеку ниспосылаются не в области физиологической, а в области духовной, и истребление тела отнюдь не всегда влечет за собой спасение души. Потому обставлены епископские палаты не хуже губернаторского дома, стол в трапезной и вовсе не в пример лучше, а яблоневый сад первый во всем городе – с беседками, ротондами и даже фонтаном. Мирно там, тенисто, мыслеродительно, и пускай перешептываются недоброжелатели – на дурной роток не накинешь платок.

А с коварным проверяльщиком Бубенцовым поступить надо вот как, придумал владыка. Перво-наперво отписать в Петербург Константину Петровичу про все художества его доверенного нунция и про то, какая беда может произойти для церкви от этих художеств. Оберпрокурор человек умный. Возможно, что и внемлет. Но посланием не ограничиваться, а непременно призвать к беседе губернаторшу Людмилу Платоновну – усовестить, пристыдить. Женщина она добрая и честная. Должна одуматься.

Всё и устроится. Куда как просто.

Но и после того, как от сердца отлегло, сон все равно не шел, и дело было не в круглой луне, и даже не в цикадах.

Зная свою натуру и имея привычку досконально, до винтика разбирать работу ее механизма, Митрофаний принялся вычислять, что за червь его гложет, не попускает разуму окутаться сонным облаком. В чем причина?

Неужто давешний разговор с взбалмошной белицей дворянского звания, которой отказано в постриге? Владыка не стал ходить вокруг да около, брякнул ей начистоту: «Вам, дочь моя, не Сладчайшего Жениха Небесного надобно, это всё ваши иллюзии. Вам самого обычного жениха нужно, из чиновничьего сословия, а еще лучше – офицера. С усами». Не следовало

бы так, конечно. Истерика была и потом еще долгое утомительное препирательство. Но это ладно, пустое. Что еще?

Пришлось принять неприятное решение насчет отца эконома из Богоявленского монастыря. За пьяное бесчиние и блудное хождение к женщинам неодобрительного поведения преступник был приговорен к увольнению из обители и обращению в первобытное звание. Теперь пойдет писанина – и высокопреосвященному, и в Синод. Но и это было дело обычное, причина тревоги коренилась не в» нем.

Митрофаний подумал еще, пощупал в себе, как бывало в детстве, на «тепло-холодно» и вдруг понял: письмо от двоюродной тетки, генеральши Татищевой, вот где, оказывается, червоточина. Сам удивился, но сердце сразу подтвердило – горячо, в самую точку. Вроде глупость, а на душе что-то кошки скребут. Взять перечесть?

Сел на кровати, зажег свечу, надел пенсне. Где оно, письмо-то? А, вот, на столике.

«Милый мой Мишенька, – писала старуха Марья Афанасьевна, по прежней памяти называя родственника давно забытым мирским именем, – здоров ли ты? Отпустила ли тебя окаянная подагра? Прикладываешь ли ты капустный лист, как я тебе велела? Аполлон Николаевич, покойник, всегда говорил, что...» Далее следовало пространное описание чудодейственных свойств огородной капусты, и преосвященный нетерпеливо заскользил взглядом по строчкам, написанным ровным, старомодным почерком. Глаза споткнулись на неприятной фамилии. «Опять навешал меня Владимир Львович Бубенцов. И что только ввали про него, будто он прохвост и чуть ли не душегуб. Славный молодой человек, мне понравился. Прямой, без фанаберии, и в собаках толк понимает. Знаешь ли ты, что он мне, оказывается, родня по линии Стрехниных? Моя бабка Аделаида Секандровна вторым браком...» Нет, и не это, дальше.

Ага, здесь: «...Но это всё к делу не относится и писано было только потому, что я по сердечной слабости медлила подойти к главному. Только соберусь, уж и духом укреплюсь, а снова слезы в два ручья, и рука трясется, и в груди холодом стискивает. Пищу я к тебе, Мишенька, не просто так. У меня большое горе, да такое, что один ты меня и поймешь, а другие, поди, и на смех поднимут, скажут, совсем дура старая из ума выжила. Хотела бы сама



к тебе приехать, да мочи нет, хотя вроде бы и путь недалёкий. Лежу пластом и все плачу, плачу. Ты знаешь, сколько лет, сколько сил и сколько средств я положила на то, чтобы довести до конца дело, которому Аполлон Николаевич посвятил свою жизнь». (На этом месте владыка покачал головой, поскольку к делу, которому покойный дядюшка посвятил свою жизнь, относился скептически.) «Так узнай же, друг мой, какое злодейство приключилось в моей Дроздовке. Какой-то супостат, и ведь не иначе как из своих, подсыпал отравы в похлебку Загуляю и Закидаю. Закидай помоложе, я его рвотным камнем спасла, выходила, а вот Загуляюшка преставился. Всю ночь маялся, метался, плакал человеческими слезами и смотрел на меня так жалобно: спаси, мол, матушка, на тебя вся моя надежда. Не спасла. Под утро уж вскрикнул так жалостно, на бок упал и дух испустил. Я бухнулась без сознания и, говорят, пробыла так три часа, уж и доктор из города приехать успел. Теперь вот лежу вся слабая, и больше от страха. Ведь это заговор, Мишенька, злодейский заговор. Кто-то извести хочет деточек моих, а с ними и меня, старую. Богом-Вседержителем молю тебя, приезжай. И не для пастырского утешения, его мне не надобно, а для розыска. Все говорят, что ты дар имеешь любого злодея насквозь видеть и всякую преступную каверзу разгадывать. Какого уж тебе еще злодейства хуже этого? Приезжай, право, спаси. А я буду вечная твоя обожательница и в духовной отпишу щедрую долю хоть на храм, хоть на монастырь какой, хоть на сирот». В самом конце письма тетка переходила из родственного тона в официально-почтительный: «Поручая себя отеческому вниманию, архипастырским молитвам и моля о владычном благословении, остаюсь преданная раба Вашего преосвященства Марья Татищева».

Тут, пожалуй, нужно пояснить про дар, о котором писала генеральша Татищева и который духовной особе архиерейского звания был вроде бы и не совсем к лицу. Тем не менее среди прочих еще более возвышенных достоинств числился за владыкой и драгоценный, редко встречающийся талант распутывать всякие головоломные загадки, в особенности с преступной подоплекой. Можно даже сказать, что была у Митрофания настоящая страсть к подобного рода умственной гимнастике, и не раз случалось, что полицейские власти, даже и из сопредельных губерний, почтительно спрашивали у него совета в каком-нибудь запутанном расследовании. Этой своей славой заволжский епископ втайне очень гордился, но не без угрызений совести – во-первых, потому, что сия гордость несомненно относилась к разряду суетных тщеславий, а во-вторых, по еще одной причине, о которой знали только он сам и еще некая

особа, поэтому умолчим.

Просьба тетки – мчаться к ней в поместье для расследования обстоятельств гибели Загуляя – вечером, при первом прочтении письма, позабавила преосвященного. Вот и сейчас, перечтя послание, он подумал: чушь, блажит старуха. Полежит денек-другой и встанет.

Загасил свечу, лег, а на сердце все равно нехорошо. Попробовал помолиться за теткино выздоровление. Известно, что, ночная молитва доступнее к Господу. Вот и святой Златоуст пишет, что Господь наипаче умиловливается ночными молитвами, «егда соделаешь время успокоения многих временем плача».

Но молитва вышла без души, одно попугайское суесловие, а таких молений владыка не признавал. Он и епитимий молитвенных никогда ни на кого не налагал, почитал за святотатство. Молитва и не молитва вовсе, если проходит только через уста, не затрагивая сердца.

Ладно, пускай Пелагия сходит, решил Митрофаний. Пускай выяснит, что там содеялось с этим треклятым Загуляем.

И сразу отпустило, и цикады уже не бередили душу трепетным многоголосием, а убаюкивали, и луна не резала глаза, а как бы омывала лицо теплым молоком. Митрофаний смежил вежды, разгладил морщины на суровом челе. Уснул.

\* \* \*

С утра в домовой церкви святили плоды по случаю Преображения Господня, еще называемого яблочным Спасом. Этот праздник, не самый большой из двенадцатых, Митрофаний любил за яркость и богоприятное легкомыслие. Сам не служил, стоял сзади и сбоку, на архиерейском возвышении, откуда лучше видно и разукрашенную яблоками церковь, и многочисленную публику, и священников с дьяконами в особых «яблочных» ризах – голубых с золотом, а поверху – плодно-листяное шитье. Певчие знаменитого архиерейского хора, сойдясь с двух сторон, грянули катавасию, да так, что тяжелая хрустальная люстра под белым сводом звонко затрепетала радужными подвесками. Отец Амфитеатров начал святить яблоки: «Господи, Боже наш, положивый верующим в Тя пользование творениями Твоими, Сам благослови подлежащая плоды сия словом Твоим...» Хорошо.

Служба на Спас недолгая, радостная. В храме пахнет свежестью и соком, потому что все со своими корзинами пришли, яблоки кропить. И подле Митрофания, на столике, тоже лежало серебряное блюдо с огромными красными ананасно-царскими яблоками из владычьего сада, сочными, сладкими, ароматными. Кого преосвященный одарит – тому особое отличие и расположение.

Митрофаний послал костыльника, служку при архиерейском посохе, к левому клиросу, где в ряд чинно стояли монахини, назначенные по послушанию учительствовать в епархиальной школе для девочек. Посланец шепнул на ухо начальнице, высокой, тощей сестре Христине, что владыка яблочком пожалует, и та оглянулась, склонилась в благодарном поклоне. Справа от нее (со спины не сразу догадаешься), кажется, стояла сестра Емилия, преподававшая арифметику, географию и еще несколько наук. Потом кривобокая сестра Олимпиада, эта ведала законом Божьим. Далее две одинаково сутулые, Амвросия и Аполлинария, не разберешь, кто из них кто; одна преподавала грамматику и историю, другая – домополезные рукоделия. А с краю, у стеночки, невысокая, худенькая сестра Пелагия (литература и гимнастика). Эту и захочешь, ни с кем не перепугаешь: платок-апостольник на сторону сбился, и сбоку – для монахини стыд и недопустимо – прядка рыжих волос торчит, так и отливает бронзой в

солнечном луче.

Митрофаний вздохнул, вновь, уже в который раз, усомнившись, не ошибся ли, дав в свое время благословение Пелагии на постриг. Нельзя было не благословить – через большое горе и тяжкое испытание прошла девица, так что не всякая душа и выдержала бы, но уж больно не монашеского она кроя: чересчур жива, непоседлива, любопытственна и в движениях нечинна. Так ты ведь и сам таков, старый дурень, укорил себя преосвященный и опять вздохнул, еще сокрушенной.

Когда инокини выстроились получать от преосвященного по яблоку, он отличил каждую – кого к руке подпустил, кого по голове легонько погладил, кому просто улыбнулся, а с последней, Пелагией, вышел казус. Наступила, нескладная, отцу иподиакону на ногу, шарахнулась с извинением, всплеснула рукой и локтем прямо по блюду. Грохот, звон серебра о каменный пол, во все стороны обрадовано катятся красные яблоки, и мальчишки из духовного училища, кому и не положено вовсе, потому что озорники и сорванцы, уж расхватили драгоценный царский ананас, ничего не оставили людям достойным, заслуженным, кто за Пелагией своего чередка ожидал. И вечно с ней так – не монахиня, а недоразумение конопатое.

Митрофаний пожевал губами, но от внушения воздержался, потому что храм Божий и праздник.

Сказал только, благословляя:

– Прядку-то подбери, стыдно. И в библиотеку ступай. Говорить с тобой буду.

\* \* \*

– Некий осел вообразил себя рысаком, принялся раздувать Ноздри и стучать копытом о землю. (Так начал разговор преосвященный.) «Всех обгоню! кричал. – Я самый быстрый, самый резвый!» И до того убедительно кричал, что все вокруг поверили и стали повторять: «Наш-то осел и не осел вовсе, а самый что ни на есть чистопородный аргамак. Надо его теперь на скачки выпускать, чтобы он все до единого призы завоевал». И не стало после этого ослу житья, потому что как где бега, сразу его под узду и скакать волокут. «Давай, мол, длинноухий, не выдавай». То-то славное ослу житье вышло.

Монахиня, давно привычная к епископовым иносказаниям, слушала сосредоточенно. Невнимательно на нее взглянуть – юная девица: лицо чистое, милоовальное, собой располагающее и вроде как наивное, но это обманчивое впечатление возникало от вздернутого носа и удивленно приподнятых бровей, а пытливые круглые карие глаза смотрели из-за таких же круглых очков вовсе даже не просто, и было по глазам видно, что нет, это не юница – и пострадать успела, и пожить, и поразмыслить о пожитом. Свежесть же и молоджавость от белой кожи, часто сопутствующей рыжеволосию, и от оранжевого крапчика неистребимых веснушек.

– Так вот скажи мне, Пелагия, к чему сия притча?

Инокня задумалась. С ответом не спешила. Маленькие белые руки непроизвольно потянулись к холщовой сумке, висевшей у пояса, и владыка, зная, что Пелагии легче думается с вязаньем в руках, позволил:

– Вяжи, можно.

Проворно защелкали острые стальные спицы, и Митрофаний поморщился, вспомнив, какие отвратительные произведения появляются на свет из этих обманчиво ловких пальцев. На Святую Пасху сестра поднесла архиерею белый шарфик с буквами ХВ, скособоченными так, будто они уже успели изрядно разговестись.

– Это кому? – настороженно спросил владыка.

– Сестре Емилиии. Поясок, а по нему пуцу узор из черепов с костями.

– Ну-ну, – успокоился он. – Так что притча?

– Я так думаю, – вздохнула Пелагия, – что это про меня, грешницу. Сей аллегорией, отче, вы хотели сказать, что из меня инокиня, как из осла резвый скакун. И такое немилосердное суждение обо мне вы вынесли оттого, что я в храме яблоки просыпала.

– Просыпала-то нарочно? Чтоб в храме кутерьму устроить? Признайся. Митрофаний заглянул ей в глаза, но устыдился, потому что прочел в них кроткий укор. – Ладно-ладно, это я так... А притча моя не к тому, не разгадала ты. Что же это у нас, человеков, за устройство такое, что всякое событие и всякое сказанное слово мы непременно тщимся на себя приложить? Гордыня это, дочь моя. И невелика ты птица, чтоб я про тебя притчи загадывал.

Внезапно осердившись, он встал, заложил руки за спину и прошелся по библиотеке, которая, пожалуй, заслуживает того, чтобы уделить ей некоторое внимание.

Архиерейская библиотека содержалась в идеальном порядке и находилась в ведении секретаря Усердова, работника старательного, в полном соответствии с фамилией. В центре самой протяженной из стен (той, что была лишена окон и дверей) располагался шкаф с трудами по богословию и патрологии, где хранились вероучительные сочинения на церковно-славянском, латыни, греческом и древнееврейском. По левую сторону тянулись шкафы агиографии с житиями святых, как православных, так и римско-католических; по правую – труды по истории церквей, литургике и канонике. Отдельное место занимал обширный шкаф с трактатами по аскетике, напоминание о прежнем увлечении преосвященного. Были в том шкафу и драгоценнейшие редкости вроде первых изданий «Внутреннего замка» святой Терезы Авильской или «Одеяния духовного брака» Рейсбрука Удивительного. На длинном столе, тянувшемся через всю комнату, высились подшивки русских и иностранных газет и журналов, причем самое почетное место отводилось «Заволжским епархиальным ведомостям», губернской газете, редакторство которой владыка вел самолично.

А литература нерелигиозная, самых различных направлений, от математики до нумизматики и от ботаники до механики, стояла на крепких дубовых полках, сплошь занимавших три остальные стены библиотечного помещения. Единственный род чтения, которого владыка избегал, почитая малополезным, была беллетристика. Творец небесный измыслил в сем мире предостаточно чудес, загадок и неповторимых историй, говаривал епископ, так что смертным человекам незачем выдумывать собственные миры и игрушечных человечков, все равно против Божьего вымысла выйдет скудно и неудивительно. Правда, сестра Пелагия с владыкой спорила, ссылаясь на то, что раз Господь заронил в душу человека желание творчества, то Ему виднее, есть ли смысл и польза в сочинении романов. Однако этот теологический диспут был начат не Митрофанием и его духовной дочерью, а много ранее; не ими и закончится.

Остановившись перед Пелагией, смиренно ожидавшей, когда иссякнет не вполне понятное раздражение духовного учителя, Митрофаний вдруг спросил:

– Что нос-то блестит? Снова конопушки одуваным эликсиром выводила? Статочное ли дело Христовой невесте о такой суетности заботиться? Ведь ты умная женщина. Вот и блаженный Диадок поучает: «Украшающая плоть свою повинна в телолюбии, оно же есть знамение неверия».

По шутливому тону преосвященного Пелагия поняла, что тучка улетела, и ответила бойко:

– Ваш Диадок, владыко, известный мракобес. Он и мыться запрещает. Как там у него в «Добротолубии» сказано? «Бани следует, воздержания ради, удаляться, ниже бо тело наше ослабевает сладостною оною мокротою».

Митрофаний сдвинул брови:

– Я вот тебя поставлю сто земных поклонов класть, чтобы непочтительных слов о древнем мученике не говорила. И об украшении плоти он правильно поучает.

Смутившись, Пелагия принялась многословно оправдываться, что с веснушками воует не ради, упаси Господи, телесной красы, а единственно из благочиния – хороша инокиня с конопатым носом.

– Ну-ну, – недоверчиво покачал головой архиерей, всё медля перейти к главному.

Переходы от дерзости к смирению и обратно у сестры Пелагии всегда происходили молниеносно, не уследишь. Вот и сейчас, блеснув глазами, она очень уж смело спросила:

– Владыко, неужто вы меня из-за веснушек вызвали? И опять Митрофаний не решился о деле заговорить. Покашлял, сызнава прошелся по библиотеке. Спросил, как ученицы в школе. Прилежны ли, хотят ли учиться, не обучают ли их сестры лишнему, что в жизни не поможет, а только помешает.

– Мне доносят, ты их затеяла плаванию обучать? Зачем это? Будто велела сколотить на Реке купальню и плещешься там вместе с ними? Хорошо ли это?

– Плавание девочкам необходимо, потому что, во-первых, укрепляет здоровье и развивает гибкость членов, а во-вторых, способствует стройности, – ответила сестра. – Они ведь из бедных семей, все больше бесприданницы. Вырастут – женихов найти надо... Владыко, да ведь вы меня и не из-за школы вызвали. Третьего дня мы уж говорили про школу и про плавание тоже.

Не из тех была Пелагия, кого можно долго за нос водить, и потому Митрофаний наконец заговорил о придуманном минувшей ночью, перед тем как уснуть.

– Осел, про которого я тебе толковал, я самый и есть. Потакая твоим мольбам, а еще более – собственному пустому тщеславию, для пастыря совершенно неприличному, держу от всех в тайне, что истинный дока по части разгадки неявного и ложноочевидного не я, старый дурень, а ты, тихая рясофорная инокиня Пелагия. И от меня, как от того славлюбивого осла, все ожидают чудес и новых прозрений. Теперь уж и не поверит никто, если я объявлю, что это всё твоим промыслом совершалось, а я только тебе послушания назначал...

Спицы перестали постукивать друг о друга, в круглых карих глазах зажглись огоньки.



– Что случилось-то, отче? Видно, не в нашей губернии, а то я бы знала. Опять, как в прошлый год на Маслену, казну церковную похитили? спросила сестра с нетерпеливым любопытством. – Или, не приведи Господь, духовное лицо умертвили? Какое послушание мне будет от вашего преосвященства на этот раз?

– Нет, человекоубийства никакого нет. – Митрофаній сконфуженно отвернулся. – Тут другое. Не по преступной части. Во всяком случае, дело это не полицейское... Я тебе расскажу, а ты пока слушай. После скажешь, что думаешь. Да ты вяжи. Вяжи и слушай...

Он подошел к окну и всё дальнейшее проговорил, глядя в сад и время от времени принимаясь постукивать пальцами по раме.

– Недалеко отсюда, верст восемь, усадьба моей двоюродной тетки, Марьи Афанасьевны Татищевой. Она уже глубокая старуха, а когда-то давно считалась одной из первых петербургских красавиц. Я мальчиком был, помню, как она к нам приезжала. Веселая была, молодая, в шашки со мной играла... Вышла замуж за офицера, полнового командира, ездила с ним по разным отдаленным гарнизонам, потом он в отставку вышел, и поселились они здесь, в Дроздовке. Этот самый Аполлон Николаевич, ныне уж покойный, страстный был собачник. Первую псарню держал во всей губернии. И борзые у него, и гончие, и легавые. Один раз щенка за тысячу рублей купил, вот какой был отчаянный. Но этого всего ему мало показалось, возмечтал он некую особую, прежде еще небывалую породу вывести. И весь остаток жизни с этим прожеком провозился. Породу он назвал «белый русский бульдог». От обычного отличается мастью – белый весь, как молоко, особой приплюснутостью профиля (забыл, термин у собачников есть для этого специальный) и еще какой-то невиданной брудастостью – это когда брыли свисают. Главная же особенность, в которой вся изюминка, – чтоб при общей белизне правое ухо было коричневым. Не припомню, какой в этом смысл – что-то про каски... Кажется, когда Аполлон Николаевич в кавалергардах служил, у них в эскадроне был обычай каски немного набекрень надевать. Вот ухо эту лихость и отражает. Ах да, забыл, еще они должны чрезвычайной слюнявостью обладать, уж не знаю, для какой практической пользы. В общем, уродище, каких поискать. Действовал Аполлон Николаевич так. Во все барские дома, где бульдогов держали, по всей России дал знать, что выроdkов-альбиносов топить, как это делают обычно, не следует, а нужно

немедля отсылать к генерал-майору Татищеву, и он выкупит бракованных щенков за хорошие деньги. Белые щенки, да еще с коричневым правым ухом у бульдогов рождаются очень редко. Сейчас не помню, хоть много раз и от дяди, и от тетки слышал... Может, один на сотню пометов. Вот, стало быть, собирал Аполлон Николаевич этих уродцев, подращивал и между собой скрещивал. Щенки выходили обыкновенные, рыжие, но иногда получались и белые, буроухие, и теперь уже чаще – скажем, на десяток пометов один. Тех он снова отбирал и скрещивал, да еще следил, чтоб побрудастей и послунявей были. Особенная трудность, конечно, с этим треклятым ухом выходила. Очень уж многих выбраковывать приходилось. И так поколение за поколением. Когда дядя преставился, он уж далеко к своей мечте продвинулся, но все же еще находился, так сказать, на полдороге. Умирая, завещал жене довести начатое до конца. А Марья Афанасьевна была супруга поистине золотая. В свое время из светских чаровниц враз перестроилась в матери-командирши, а после и в помещицы. И всё без притворства, от души и в охоту. Такой у нее от Бога женский талант. Если б муж ей на смертном одре поручения не дал, поди, засохла бы, не справилась с горем. А так ничего, вот уже двадцать лет вдовеет и крепка, деятельна, характером бодра. Все разговоры, все помыслы только на собачью материю. Я уж и пенял ей несоразмерностью увлечения, и корил – не слушает. Как-то говорю, не всерьез, поддразнивая: «Тетенька, а если к вам Люцифер явится и попросит вашу душу христианскую в обмен на чистейшую белую породу, отдадите?» «Господь с тобой, Миша, отвечает, что это ты такое несешь». И вдруг примолкла, задумалась. Это уж, скажу я тебе. Пелагия, не шутки! Так или иначе, продолжила она дело покойного мужа по выведению русского белого бульдога и немало в том преуспела. Особенно по линии брудастости, плоскомордия и слюнявости. С ухом у нее хуже сложилось. Из совсем идеальных у нее до недавнего времени всего три кобеля накопилось. Дед по кличке Загуляй, уж старый, на девятом году. Потом сын его, Закидай, четырехлесток. И месяца два-три назад на радость старухе родился Загуляев внук, назвали Закусаем. Такой он вышел по всем статьям образцовый, что тетка всех прочих псов, недостаточно совершенных, велела перетопить, чтоб породу не портили, оставила на развод только этих троих. Ох, забыл еще из существенных статей: криволапые они и носы розовые в черную крапинку. Это тоже важное отличие...

Здесь владыка почувствовал себя совсем глупо и, смешавшись, искоса взглянул на слушательницу. Та шевелила губами, считая петли. Недоумения

не выказывала.

– В общем, на-ко вот, прочти. Письмо вчера пришло. Если скажешь, что блажит старуха, из ума выжила, я ей отпишу что-нибудь успокоительное, да и деле с концом.

Митрофаний вынул из рукава подрясника письмо, передал Пелагии.

Сестра пальцем прижала дужку очков к переносице, стала читать. Дочитав, встревоженно спросила:

– Кому бы понадобилось собак травить? И зачем?

От серьезности вопроса владыка испытал облегчение и конфузиться сразу перестал.

– То-то и оно, зачем. Рассуди сама. Марья Афанасьевна – старуха богатая, в наследниках недостатка не имеет. Дети у нее поумирали, есть внук и внучка – княжата Телиановы. И еще бессчетная дальняя родня, приживалы там какие-то, приятели всякие. Женщина она добрая, но вздорная. И привычку самодурскую имеет – чуть не каждую неделю вызывает из города стряпчего и духовную наново переписывает. На кого осерчает – вычеркивает из завещания, кто угодил – долю увеличивает. Вот о чем и дума моя. Проверить бы, Пелагиюшка, кого она там в последний раз по духовной облагодетельствовала. Или, наоборот, на кого осерчала и грозитя наследства лишить. Иного смысла в этом диком собакотравстве я не вижу, кроме как если кто задумал таким манером саму старушку в могилу загнать. Видишь, как она из-за пса этого расхворалась. А если бы оба околели, тут бы Марью Афанасьевну и схоронили. Как тебе моя препозиция? – обеспокоенно спросил епископ свою проницательную питомицу. – Не слишком невероятна?

– Опасение резонное и очень вероятное, иной причины и в голову не приходит, – одобрила инокиня, однако же добавила: – Хотя, конечно, надо бы на месте побывать. Может, и какая другая причина сыщется. А велико ли у вашей тетеньки состояние?

– Велико. Имение большое, содержится в образцовом порядке. Леса, луга, мельницы, льны, овсы первостатейные. Еще и капитал, денежные бумаги в банке. Не удивлюсь, если все вместе к миллиону будет.

– А наследников ее вы, владыко, знаете? Очень уж много нужно подлости иметь, чтобы такое дело затеять. Пожалуй, напрямую убить, и то грех не тяжелее получится.

– Это ты с Божеской позиции смотришь, и правильно делаешь. Но человеческие законы от Божьих далеки. Напрямую убить – это ведь полиция допытываться будет, кто да зачем. Так и на каторгу угодишь. А собачек потравить – грех в человеческом смысле небольшой, в юридическом и вовсе никакой, старушку же этим способом убьешь еще верней, чем ножом или пулей.

Пелагия руками взмахнула, так что вязанье у нее полетело на пол:

– Большой это грех в человеческом смысле, очень большой! Даже если бы эта ваша Марья Афанасьевна исчадием ада была и кто-то обиженный хотел с ней счеты свести, то в чем же невинные твари виноваты! Собака – существо доверчивое, привязчивое, от Господа и верностью, и любовным даром так щедро наделенное, что и людям не вред бы поучиться. Я полагаю, владыко, что собаку еще хуже, чем человека, убить.

– Ну, ты это язычество мне брось! – прикрикнул преосвященный. – Чтоб я такого больше не слышал! Сравнила душу живую с тварью бессловесной!

– Что ж с того, что бессловесной, – не унималась упрямая монашка. Вы собаке в глаза заглядывали? Вот хоть Жуку вашему, что у ворот на цепи сидит? А вы загляните. У Жука глаза подушевные и поживее, чем тусклые плоски вашего драгоценного Усердова!

Открыл было рот владыка, чтобы дать волю праведному гневу, но остановил себя. В последнее время вел он борьбу с грехом сердечной свирепости, и иногда получалось.

– Недосуг мне дворовым псам в глаза заглядывать, – сухо, с достоинством молвил епископ. – Усердова же не трогай, он аккуратен и исполнительен, а что до его души трудно добраться, так это характер такой. И препираться с тобой я не стану, тем более из-за очевидного. Скажи одно: сделаешь, о чем прошу?

– Сделаю, отче, – поклонилась инокиня.

– Тогда вот тебе послушание. Ступай в Дроздовку. Прямо нынче. Передашь Марье Афанасьевне мое благословение и письмо, какое дам. Успокой старушку. А главное – выясни, что там у них такое творится. Если обнаружишь злой умысел – пресеки. Ну да что тебя учить, сама знаешь. И пока ясности не достигнешь, не возвращайся.

– Владыко, – встрепенулась Пелагия. – У меня в субботу уроки в школе.

– Ну, на уроки придешь, а после снова в Дроздовку. И будет, ступай. Подойди только, благословлю.

\* \* \*

Прежде чем сестра Пелагия отправится в поместье генеральши Татищевой, необходимо сделать кое-какие географические пояснения, без которых человеку, никогда не бывавшему в Заволжске, будет трудненько поверить и даже просто понять, как могло произойти все то, что воспоследовало в дальнейшем.

Главное действующее лицо в этой истории – Река, величайшая и славнейшая не только в России, но и во всей Европе. Губернская столица выстроена на левом берегу, над крутым яром. Здесь течение вод стеснено с обеих сторон утесами, и оттого знаменитый своей величавостью поток на время утрачивает благодушие, переходит с рассеянной неспешности на рысистый бег, пенится барашками, крутится темными водоворотами и ведет многовековую осаду Заволжского отвеса, подсекая высокий обрыв коварными апрошами. Ниже, верст через пять, левобережная круча постепенно выравнивается, сменяется песчаными отмелями, так что Реке становится привольней, и она, отдуваясь после вынужденной пробежки, растекается вширь чуть не на версту. Но передышка эта временная – как раз там, где расположена Дроздовка, упрямый берег снова резко дыбится кверху; помещичий дом и сад вознесены высоко над водным простором, отчего открывающийся оттуда вид по праву считается красивейшим во всей округе.

Так что путь сестре Пелагии лежал в южном направлении, через Казанскую заставу на Астраханский шлях, что тянется вдоль Реки, послушно следуя всем ее прихотливым изгибам и никогда не удаляясь от нее более чем на пять верст.

Перед тем как покинуть свою комнатку на архиерейском подворье, по-монастырски называемую кельей, Пелагия по давней суеверной привычке открыла Евангелие и ткнула пальцем в первую попавшуюся строчку. Послушание на сей раз ей выпало нестрашное и, можно даже сказать, пустяковое, но такой уж у монахини был обычай. Однако строчка (из «Послания святого апостола Павла к Феликсийцам») выпала явно не случайная, содержащая в себе не то подсказку, не то предостережение:

«Блюдитесь псов и блюдитесь злых делателей».

Видимо, все-таки именно предостережение, потому что на выходе из города, уже за шлагбаумом, была Пелагии явлена примета явно недоброго свойства. Оглянувшись и уввдев, что поблизости вроде бы никого нет, инокиня достала из поясной сумки, где вязанье, маленькое зеркальце и принялась разглядывать нос – не побледнели ли настырные веснушки от одуванного молочка. А тут из придорожных кустов шуршание раздалось, и вылезли две бабы, невесть зачем сошедшие с шляха. Сестра Пелагия хотела руку за спину спрятать, да так неловко, что зеркальце упало. Подняла – нехорошо: две трещины крест-накрест, а всем известно, что это за знак. Ничего хорошего он не предвещает.

К плохим приметам Пелагия, вопреки монастырскому уставу, относилась серьезно, и не из невежества, а потому что многократно убеждалась: неспуста они за долгие века народом выделены и перечислены. Как положено в подобном случае, зачерпнула горстку праха, кинула через левое плечо, осенила себя крестным знаменiem (чего всуе никогда не делала), прочла молитву Пресвятой Троице и пошла себе дальше.

О тревожном думать не хотелось (да, в общем, и не с чего было), впереди предстояло пусть маленькое, но все же не лишенное познавательности приключение, и настроение монахини, ненадолго омраченное гибелью зеркальца, быстро наладилось, тем более что стояла та волшебная летняя пора, когда воздух от зрелого солнца делается золотистым, будто мед, небо высокое, а земля широкая, и все вокруг полно щедрой жизни и доброй истомы. Да, впрочем, что описывать, все и так знают, как выглядит пригожий августовский день, не так давно переваливший за середину.

На первой же версте Пелагии повезло – подсадил на телегу старичок крестьянин. Дороги у нас в губернии новые, ровные, едешь – будто по льду скользишь, и докатила Пелагия на мягком сене с полным комфортом до самого поворота с Астраханского шляха на Дроздовку.

Тут, на самой развилке, было еще одно предзнаменование, да такое, что хуже уж и не придумаешь. Сойдя с телеги и благословив старичка. Пелагия увидела в стороне кучку людей, столпившихся возле какой-то повозки и что-то там молчаливо разглядывавших. По прирожденному любопытству не могла сестра пройти мимо такого события и подошла посмотреть, что там за диковина. Протиснулась меж мужиков и богомольцев, прищурилась через очки: самое обыкновенное дорожное происшествие – сломалась ось.

Но возле покривившейся повозки отчего-то торчал исправник и кряхтели двое полицейских стражников, насаживая колесо на свежесрубленный и кое-как зачищенный дубок. Исправник был знакомый, капитан Нерушайло из ближнего Черногоярского уезда, а в повозке лежало что-то продолговатое, прикрытое брезентом.

– Что, Пахом Сергеевич, утопленник? – спросила Пелагия, поздоровавшись и на всякий случай перекрестив брезент.

– Нет, матушка, пострашнее, – с загадочным видом ответил исправник, вытирая платком малиновую плешь. – Река двух упокойников выкинула. Безголовых. Мужчина и отрок. Так на песке рядышком и лежали. Вот какая оказия. Расследование будет, по всей форме. Везу вот в губернию на опознание. Хоть как их опознавать, черт разберет. Прошу прощения, само сорвалось.

Пелагия «черта» с плеча стряхнула, чтоб не лип, и перекрестила уже не мертвецов, а себя.

– Это не наши, – сказали в толпе. – У нас такого душегубства отродясь в заводе не было.

– Да, – согласился кто-то. – Не иначе как с Нижнего принесло, там у них сильно шалят.

Это мнение было встречено всеобщим одобрением, потому что заволжане нижегородцев недолюбливают, считая их народишком вороватым и никчемным.

– Ваше благородие, показал бы, что за люди. Вдруг да узнаем, попросил борода в хорошем казакине – солидный человек, и видно, что не из одного любопытства, на мертвяков поглазеть.

Многие просьбу поддержали, а бабы хоть и поохали, но больше из приличия.

Исправник надел фуражку, немного подумал и снизошел.

– А что ж, и покажу. Вдруг и вправду...



Сдернул Пахом Сергеевич покров, и Пелагия сразу отвернулась, потому что трупы были совсем голые, монахине на такое смотреть не пристало. Успела только увидеть, что у большого, волосатого, левая рука, где полагается кисти быть, заканчивается сырмясным обрубком.

– Ой ты, Господи, мальчонка-то малой совсем, – запричитала какая-то из баб. – У меня Афонька такой же.

Дальше Пелагия смотреть не стала, потому что послушание есть послушание, и зашагала проселком к Дроздовке.

Что-то душно становилось, и от земли поднималось некое струение, как бывает в жаркий день перед дождем. Пелагия ускорила шаг, поглядывая на небо, по которому, быстро набухая, катилась круглая, плотно сбитая туча. Впереди виднелась ограда парка, и над деревьями зеленела крыша большого дома, но до него пока еще было далеконько.

Ничего, не размокну, сказала себе монахиня, но настроение у нее было уже совсем не то, что прежде. Сестру Пелагию одолевало недостойное чувство – зависть. Вот это настоящее дело, думала она, вспоминая, как важно произнес Пахом Сергеевич вкусное слово «расследование».

Кому страшную тайну разгадывать, а кому разбираться, от чего околел тетенькин брудастый. Ну и послушание дал владыка.

## II

# ТУЧИ НАД ЗАВОЛЖСКОМ

Пусть сестра Пелагия пока идет себе под быстро темнеющим небом к железным воротам дроздовского парка, мы же тем временем сделаем отступление, чтобы разъяснить некоторые тайны нашей губернской политики, а также представить персон, которым суждено сыграть ключевую роль в этой темной и запутанной истории.

Как уже было сказано, Заволжская губерния обширна, но находится вдали от вместилища центральной власти и с давних времен была не то чтобы совсем предоставлена самой себе, но очень мало осенена вниманием со стороны высших сфер. Ничего желанного для сих сфер в Заволжье нет – всё леса, да реки, да озера, в особенности же много болот, и таких, что в годы Смуты где-то в здешних трясиных сгинул целый ляшский обоз, отправленный Самозванцем на поиски волшебного Злата Камня.

Глухомань, тмутаракань, медвежий угол. И жители здешние тоже отчасти похожи на медведей, такие же нерасторопные и косматые. Бойкие нижегородцы и тороватые костромичи придумали глупую присказку: заволжане все бока отлежали. Что ж, заволжане и в самом деле суеты и проворства не любят, соображают не резво и перпетуум-мобилей, верно, не изобретут. Хотя как сказать. Тому несколько лет в деревне Рычаловке, что в ста двадцати верстах от Заволжска, один пономарь придумал подъемник – на колокольню ехать. Лень ему, видишь ли, стало каждый день по восьмидесяти крутым ступенькам вверх-вниз бегать. Посадил на длинные постромки стул со спинкой, понатыкал каких-то шестеренок, рычажков, и что вы думаете взлетал под небеса в две минуты. Сам владыка приезжал посмотреть на этакое чудо. Подивился, покачал головой, прокатился на диво-стуле и раз, и два, а после велел всю конструкцию разобрать, потому что в колокол положено звонить со смирением, благоговейно запыхавшись, да и ребятишкам лишний соблазн. Пономаря Митрофаний отправил в Москву учиться на механика, а вместо него прислал другого, мозгами

поскучнее. Но этот проблеск самородного гения скорее является исключением. Признаем честно, что в купности своей заволажнаны тугодумны и ко всякой новизне подозрительны.

И губернатора нынешнего, Антона Антоновича фон Гаггенау, у нас сначала приняли неодобрительно, потому что, пропитавшись духом благоустроительных реформ, задумал он перевернуть доверенную ему область с ног на голову, причем утверждал, что, наоборот, поставит ее с головы на ноги. Однако уберег Господь заволажен от излишних потрясений. Попал молодой реформатор под влияние Митрофания, смирил гордыню, остепенился, а в особенности после того, как по благословению преосвященного женился на лучшей местной невесте. Для этого барону, конечно, пришлось перейти из лютеранства в православие, и его духовным отцом стал не кто иной, как владыка. До того прижился у нас господин фон Гаггенау, что когда за примерное управление губернией был зван в столицу на министерство отказался, рассудив, что тут ему лучше. В общем, был немец, да весь вышел. Раньше, бывало, по вечерам глинтвейн из маленькой фарфоровой кружечки попивал и сам с собой на виолончели играл, а теперь к клюквенной настойке пристрастился, на Крещение в проруби купается и после того из парной часа по три не выходит.

**Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:**

[Перейти](#)